

Р Е Л И Г И Я

Владимир Зелинский

О Т К Р Ы Т И Е С Л О В А х)

х) Продолжение. Начало в № 74

СЛЫШАТЬ СЛОВО

Если здесь, на этих страницах, мы рассматриваем человека как существо, соотнесенное с некой вестью, принявшее — хотя и не по своей воле — ее в себя, то многое в нем открывается издего внимания к ней, из прояснения вести — в нас. Мы — люди разных эпох, мировоззрений и нравов — так или иначе, связаны с нею, и заявляем о своей причастности человеческому тем, что даем ей ответ. Религия, мораль, культура, искусство, обычаи отнов, законы общества — все то, в чем человек обнаруживает свою особую сущность — так или иначе относится к области ответа. Однако диалог с вестью не происходит всегда в одних и тех же рамках, словах и понятиях; "вечное в людях" /М.Мелер/ по-своему движется, погружено в историю, хотя и не растворяется в ней. Кто не знает, что нравственных систем построено великое множество, что границы между добром и злом меняются от времени к времени и от народа к народу? И все же "движение вести" имеет цель: максимально раскрыть себя нам, научить нас своему языку, общему с Богом. Перед нами две истины, которые нелегко примирить: сюжет этого драматического диалога известен Богу наперед, но участвующие в нем лица остаются свободными и всякий раз вольны располагать своими деяниями. Этот сюжет слагается из множества человеческих ответов, подлинных и неподлинных, принятых и отвергнутых, смысл которых проясняется для нас в откровениях милости и суда. Ибо весть, которая обращается к нам, дает знать о себе по-разному во всех религиях, нравственных кодексах и духовных призваниях, и в этом отношении она обладает поразительной "естественностью" /поддающейся, разумеется, толкованию любых, в том числе и ожесточенно материалистических философий/, и ~~еще~~ в то же время она до конца не смешивается с ними и судит их все. В ней соединяются для нас и зов, и закон, и суд. В ней — пробуждение духа, как и вызов нашей человеческой душевности. О ней — как о Слове — Послание к Евреям говорит, что "оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные".

Ныне, на мой взгляд, мы живем во времени /может быть, уже

уходящем/, когда тот зов и закон, и суд обрели в человеческом духе какой-то иной, доселе как бы тлевший очаг. Подспудная, неиссякающая работа Слова в человеке сравнительно недавно перевернула новую страничку в истории его души. Мне думается, эта страница заполняется теперь письменами "совести"; пользуясь здесь кавычками, чтобы для начала отличить этот термин от того, коим на религиозном языке обозначали непосредственно голос Божий в человеке. "Совесть" — и вправду великий талант, поднимающий человека над тем, что он есть, открывающий в нем то, что ему не принадлежит, но она же, как "меч обоюдоострый", может обернуться и вызывающей бездарностью. Она есть второе дыхание изнемогшего духа, но, осквернившись "идоложертвенным", "совесть" может стать проказой, идеологической эпидемией, против которой так до сих пор и не нашли эффективной вакцины. До слуха ее действительно доносится голос, но его можно принять или оттолкнуть, как можно было оттолкнуть и Слово, пришедшее во плоти. Христос проповедывал, обращаясь к "имеющим уши", но бесы узнавали Его раньше других. Упомянув о новом "очаге" духа, я ни в коей мере не имел в виду, что люди прежних эпох были "бессовестными" — избави Бог! — однако после тысячелетий работы Слова слух у людей в чем-то, может быть, утончился, и слышащих-тех, "имеющих уши", как и бесноватых, — сделалось больше. Прогресс происходит по линии добра и по линии зла одновременно, как утверждают многие христианские мыслители, и "совесть" также следует здесь обоими путями.

Но вернемся к традиционному смыслу, раскрывающему ее как со-ведение, осознание в себе Того, Кто нас бесконечно превосходит, договорившись, что в перевернутом виде она может быть и вольным, избранным неведением Его. Принимая без раздумий такое толкование, мы вовсе не покушаемся на область этимологии, но по старинке доверяем звучанию того с м ы с л а, который здесь на виду. Так доверчивость к звуковым образам заставила однажды написать Андрея Белого: "М у к а с о в е с т и" — отклик сознания на "весть", "не проникающую меня, но сливающую ~~внешнюю~~ с вестью моею". Отклик такого рода можно отнести к первичному опыту Слова, "точке контакта" с ним, как и самоопределению человека. Потому что принятие "муки" указывает на сделанный выбор: мы отказываемся от глухоты, перестаем быть посторонними перед Словом, заявляем себя перед ним —

слышащими. "Мука совести" раскрывает наш слух, и мы принимаем ее весть свободно как благословение. Эта весть не обладает даже принудительностью познания: мы можем и не знать, откуда она пришла. Знаем — облакаем четкими образами — мы лишь свое, обжитое: наше сосуществование миру, что лежит во зле, нашу ностальгию по вечности, наше ощущение призывающей нас Силы. Однако, это сознание двойственно и двуедино: оно включает в себя наше решение слышать, нашу интуицию правды и оно раскрывает себя для Того, Кто входит в наш слух и осязается чувствами, но о ком Библия говорит, что Он благоволил обитать и во мгле.

Встреча человека с неким началом, которое бесконечно его превосходит и вместе с тем в нем сокрыто, несет в себе источник "подлинно человеческого" — всего, что может быть удивительным, творческим, трагическим и страшным в нем. Слово пересекло наши пути, и точка пересечения — для нас перекресток; здесь стоит указатель: один поворот ведет к преображению нашего человеческого естества, другой — к извращению его. Ведь быть без Бога вовсе не значит "не нуждаться в этой гипотезе", но активно Его выталкивать, заполнять место Его обитания иными богами. Те, кто "заменили истину Божию ложью" /Рим. I, 25/, отнюдь не заменили сохранили человеческую природу в некоем первозданном невинном и мускулистом язычестве; кумиры их сделались господами и приобрели себе расторопных слуг. Познавшие Бога в гневе, но не ответившие мукой, познавшие Его в благословении веры, но ничем ее не прославившие, были преданы, по словам Павла, "постыдным страстям". "Ибо нечистота наших отношений с Богом заливает нечистотой и жизнь нашу, — комментирует Барт. — Когда Бога лишают Его славы, люди также лишаются и своей". Обоготворение твари мстит нам собственным своим успехом, и то, что совершается в ноуменальном — "логоносном"! — ядре человеческого существования, наглядно и убедительно обнаруживает себя в житейской прозе, житейской грязи, в увесистых плодах лжи, густо висящих над нашими головами.

Пытливый человеческий разум не раз пробовал раскусить это ядро или хотя бы определить его. Человеку дан опыт внутреннего закона; для Сократа, например, он был личностью, "голосом", "гением", которому он, не спрашивая, повиновался. Из того же

опыта родился и знаменитый "категорический императив"; Ницше, чтобы поставить тот закон на место, мог называть его и "стадным инстинктом". Но в словах ли дело? Наука наших дней, сдвывая метафизические и художественные лепестки с философских определений, может утверждать, что нравственный инстинкт категоричен, ибо способствует выживанию стада; он вырабатывается уже у высших животных. Почему бы и нет? Если тварный мир вырастает из какого-то единого источника Жизни, то не начинается ли источник со Слова, которое — во всем живом — хочет себя высказать? Если и тварь причастна закону, общему и для людей, унизим ли мы себя нашей солидарностью со всеми существами, также ему подвластными? Апостол Павел, говоря об этой солидарности, напоминает нам не только о нашей тварности, но и о "человечности" твари, ибо и ей присуща надежда, в силу которой она "ожидает откровения сынов Божиих". Но он говорит нечто еще более важное. В последующих словах Послания к Римлянам, столько раз приводимых и столь по-разному воспринимаемых, он через тварь объясняет нам, что такое человеческая совесть, указывая одновременно на исток и на "механизм" ее. Он разгадывает совесть тем, что показывает ее в действии: "Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стонает и мучится донныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стонаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего" /8,21-23/.

"Начаток Духа". Сказано ли здесь существенно меньше, чем в каком-либо из философских определений "морального закона"? Труднее ли нам будет узнать его в нас, чем, скажем, в знакомстве со своим подлинным "я", из коего — знакомства — Шопенгауэр /и не только он/ выводил начало совести? Дух медленно — через тяжесть и муки — преодолевая инерцию "пстворности суετε", добивается до своего раскрытия и зрячести. Слепота твари побеждается через страдание.. Не только человеку дано прозреть и прозреть за всю тварь — ощутить и услышать в себе — эти усилия пробивающего путь Духа, принять Его в качестве правды, имеющей силу повелевать нами. Сверху — из "начатка Духа" и одновременно снизу — из темного, тварного источника жизни Слово прорастает в человеке. Оно доносит свою весть до всякого живого существа, каждого — в меру его готовности вместить — оно хочет сделать носителем этой вести, причастным ей, принявшим ее и

благодаря этому "усыновленным и искупленным" ею. От "начатка Духа" идет для нас повеление стать сынами Божиими, из него должно вырасти и раскрыться в нас то Слово, распятием которого мы были искуплены от греха. Грех сделал нас рабами тварной природы, и когда совесть "стенает и мучится" в ней, она тем самым отвечает Слову, как бы повторяя в себе его искупительную жертву. Принимая добровольное мучение, она как будто хочет переболеть нашей тварностью, нашей падшестью. Но рационально, восприняв оклик Слова, она формулирует свой ответ в каком-то новом установленном и осознанном законе.

В совести заключена та же весть, которая открывается и вере, но она не удваивает ее и не уподобляется ей. Если вера говорит с нами через безотчетное доверие и надеющееся зрение, то совесть дает знать о себе через суд. Мы сами избираем его для себя. Совесть не хочет снисходительности, не ждет, чтобы придирчивый Законодатель вдруг подобрел и похлопал бы нас по плечу: "да выбрось ты из головы свою щепетильность, ничего страшного не случилось", потому что принимая осуждение, совесть как раз и может выздороветь. Через "мучение" вины перед кем-то из наших близких она ищет путь к своей вести, как заболевшее животное ищет какие-то горькие целебные травы с целебными свойствами.. На таком самосуждении был целиком сосредоточен Толстой в последнюю треть его жизни, отстранив при этом исцеляющую правду о Боге, Который "больше сердца нашего и знает всё" /1 Ин.3,20/. Ибо покаяние может исцелить лишь тогда, когда в нем открывается нечто "большее сердца", превосходящее моральный закон, когда через опыт покаяния мы соприкасаемся с Тем, Кто судит нас, оставаясь нашим Подсудимым. Закон, каким бы моральным и разумным он ни был, не может исцелить нас. Он безличностен и должен таковым оставаться. Совесть преодолевает закон, когда принимает на себя вину перед Личностью и тем самым прозревает — узнает себя и свою весть. Так происходит "познавательное причастие": вина, которой мы добровольно переболеем, соединяет нас с Исккупителем, стирающим эту вину, приобщающим нас к Слову и "блаженству слышащих".

Однако, никакие жесты, символы или изображения раскаяния не заменят нам опытного знания суда. Подменить же такой опыт, увы, нетрудно. Христан то и дело упрекают, что грехи их

скатываются с совести, как с раскатанных ледяных гор, оставляя их по сути в "каменной нераскаянности" /Бердяев/. И нельзя сказать, что подобный упрек совсем уж надуман. Но вот что иной раз бросается в глаза: совесть, действующая в нас как "орган внутреннего искупления", в некоторых случаях оказывается более развитой у людей, стоящих вне самой вести об искуплении. Здесь, может быть, заложен один из соблазнов христианства — не только как учреждения, но и как способа устроения души: вера оказывается слишком успешной целительницей совести, слишком легко помгает ей избавиться от мучений. Покаяние наше уподобляется не столько жертве, которая в пределе своем должна "воспроизвести" собою жертвоприношение на Голгофе, сколько магическому обовению — той необременительной процедуре, которая бремя от времени очищает нас от грязи и пыли повседневной языческой жизни. Но вера в искупление сама по себе не может быть индульгенцией; чтобы стать спасительным, искупление должно быть начертано в глубине человеческого существования. И те, кто не знает, как вина их может быть снята и прощена, могут иной раз сохранять более глубокую верность его духу, потому что не ищут освобождения от суда. Совесть их несет в себе "стенание твари", ожидающей, не умеющей найти в себе разрешения своей боли. Конечно, такая "естественная" или "безблагодатная" праведность — весьма ненадежная вещь. Ее суд над собой становится самоцелью, он разъедает самих "праведников" изнутри, но вскоре выносится вовне, обращая суровых к себе подсудимых в судей, беспощадных к другим. Процесс занимает два-три поколения, и его, как мы видели, целиком можно уложить в формулу Камю: "Начинают с того, что хотят справедливости, кончают тем, что организуют полицию".

Однако урок нашей истории вовсе не сводится к этой хорошо рифмующейся остроте. Ибо мы узнали и то, что та "праведность" была отвергнута; и это "нет" из уст Слова также составляет наш сегодняшний опыт. Мы еще вернемся к нему. Верно, что будучи анонимным, оно иногда может заговорить более внятно, чем тогда, когда узнается лицом к лицу. Однако даже услышав его, человек может свернуть в другую сторону, предпочесть услышать иные голоса. Закон действует и через язычников, "не имеющих закона", как говорит апостол Павел, но верность закону — всегда

редкость, почти чудо. Совесть, в которой порой без нашего ведома совершается "работа Господня", как будто восстанавливает нашу человечность, находящуюся всегда под угрозой разложения или оскуднения взаперти у себя самой. Она следует закону, "записанному в сердце", "закону", который в широком смысле можно передавать словами из "Дневника" Киркегора: "то, что Бог желает, чтобы я делал", "идея, ради которой я должен жить и умереть". В этой идее запечатлевается и прочитывается то, чего Бог ждет от каждого человека и от мира в целом, от истории, от человеческих замыслов и деяний. И потому служение совести можно назвать пророческим; призвание ее — "приготовить путь Господу", предварительно приняв на себя суд и закон Его. Может быть, именно в совести происходит "естественное" созревание Благой Вести, вести о Царстве Божием, которое, прежде, чем утвердить себя, должно предварить себя очищением и покаянием, и на это дело — "дело закона"! — едва ли хватит всей человеческой истории. В день Суда, который уже сейчас "предвосхищается" в нас, закон раскроется во всем, что нами сделано и прожито, и "Божий лик изобразится" в нем. Потому что Бог явится из всякого добра на земле, явится из всякой правды, исполненной верными и неверными Его сынами, явится из красоты деревьев и мученичества за веру, из "обвинений" совести и даже "стенаний" твари, и тогда уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: "Познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого..." /Иер.31,34/.

Пока же, оставаясь слышащими или глухими, мы носим лишь "закон, написанный в сердце", а в нем — законе и сердце — Слово, предоставленное нашей совести и свободе. Такой закон не может принудить нас, всякий может прочитать то, что записано, или то, что захочет прочесть. Всё предоставлено человеческому усмотрению, и лишь "сам Дух, — говорит Павел, — ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными" /Рим.8,26/. Никаких категорических императивов, только и всего. Устоят ли "ходатайства" Духа против всякого рода заглушек, против продуманных контраргументов или спонтанных контратак? Воспротивятся ли "воздыханья", если мы захотим поставить их себе на службу, сочетать их с многозвучной сложностью нашего существования? Работу, которую они совершают в нас, мы можем и охотно присво-

ить, обращая язвы совести, скажем, в произведения искусства. В час суда все то, что было неизреченным или нежеланным для нашего слуха, может стать молотом, сокрушающим скалы, а пока мы вольны понимать язык Духа или не понимать. Но подобно тому, как реальность Благой Вести может открыться нам и среди оголенного зла, так и с ходатайствах совести мы можем узнать лишь в присутствии Тайны, пронизывающей и обличающей нас. Чем больше мы уступаем себя Тайне, чем большее место даем ей в себе, тем острее ощущаем свою иноприродность ей, полнейшую нашу негодность быть для нее приютом. Но и тем большую испытываем мы в ней нужду, тем скорее смеем — на нее притязать, соединяться с нею, делаться ей причастным. Потому что причастие — и как таинство Церкви, и как свидетельство о Слове, записанном в сердце, — есть предвосхищение суда. Однако вольное принятие этого суда может стать для нас залогом оправдания и спасения в день, когда Слово заговорит в полный голос, и "Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа" /Рим.2,16/.

А до тех пор таинство может быть отделено от свидетельства и совесть может располагаться на двух этажах. На этаж небесный мы восходим, забывая иной раз людей, на этаж земной спускаемся и на нем забываем о Боге. Писание говорит, что Авраам имел двух сыновей; один — сын рабыни, другой — свободной. Павел называет их двумя заветами: один рождает в рабство, другой — в свободу. Я думаю, нельзя было родиться сразу в свободу, не пройдя послушание совести. Есть люди, как бы призванные к такому послушанию или служению, у кого оно берет начало в неотступном ощущении собственного недостойнства перед ликом "неведомого Бога" — внутри себя. Безликий закон может прятать за собой Бога совести, взывающего к очищению через жертву. Но если жертва Богу не может выразить себя одним "сокрушением духа", совесть ищет для себя земного исполнения своего жесткого закона — зачастую в муке и деле. "Внутреннее очищение" иной раз не хочет или не умеет заявить о себе иначе, кроме как принятием чужих бед, готовностью выкупить их своими лишениями и даже потребностью в риске. /Отсюда и пресловутый соблазн героизма, обличенный еще Булгаковым, ибо привычное чувство опасности легко становится подменой или даже суррогатом жертвы/. Но если дело касается не стиля поведения и общественной позиции,

но человеческой души, нам не дано знать со всей определенностью, где кончается соблазн и лукавство и начинается подлинная тайна Креста..

Ибо Крест есть единственный образ и единственный критерий человеческой совести. В нем послушание какому бы то ни было закону /у Сына — воле Отца/ целиком переплавляется благодатью, никаким узам не подвластной. Для того, чтобы "весь" закон был исполнен, знак Креста явно или неявно /может быть, у каждого по-своему/ должен по-особому проступить в нашей жизни. Но сам закон, как апостол Павел указывает нам, обозначает такое исполнение словом любовь. "Настоящая же любовь в пределе своем всегда прочитывается как смерть" /м.Антоний Блум/. И опыт богооставленности бывает неотделим от крестного опыта совести. Часто ее мучения в том и состоят, что она — без Бога, и она тем и ищет Его, что ссглащается эти мучения подзаконности, мучения подъяремности — свободно принять. Закон словно осудил ее пребывать в муках рождения, пока не изобразится в ней Христос. Во Христе же наступает конец закону и человеческим разделениям. Жертва Его принесена одновременно и Отцу и всему роду людскому. Он — вера, любовь и совесть, соединенные так, что ненужными оказываются слова, обозначающие их порознь. Он — исполнение их, означающее само их присутствие, выявление их, единой для всех, богочеловеческой сути, воплощенной в Его личности, в Его жизни и смерти. Кем бы мы ни были, мы с нею, и она в нас, эта суть есть истина, тайна или проба нашей собственной человечности. Тайна, "которая есть Христос в вас, упование славы", — как говорит о ней апостол Павел.

Послание к Колоссянам говорит также, что она сокрыта от веков и родов, ныне же открыта святым Его. Это можно понять, наверное, и так: тайна Христа открыта человеческой святостью. Она может быть открыта и человеческой совестью. Во Христе между ними нет разлада, ибо и совесть может быть святой. Но и такая совесть не избавляет от мучений и даже "великой печали", иной раз она даже ищет их и подставляет себя проклятию — за других. Когда Павел свидетельствует "своей совестью в Духе Святом", что хотел бы быть отлученным от Христа за братьев своих, израильтян, то тем самым он являет в себе и Христа,

за братьев Своих, людей, отлучившего Себя от славы Божией. Слова эти — о желании быть отлученным — по смыслу одни из самых напряженных и трудных в апостольских посланиях. От них, если вслушаться, исходит и призыв к соединению двух разделенных призываний.

"МУЖ ДВОЕДУШЕН"

Но Слово — выбор для нас, и, по правде сказать, нечасто мы делаем его в пользу Слова. При встрече с ним у нас нередко возникает искушение свернуть в другую сторону. Тем более, что свернуть и скрыться нам есть куда. Скольких улочек и проходных дворов, убежищ и тайников у нас пока достаточно. Свет — по крайней мере в этой, данной нам жизни — не каждый день проливается на нас раскаленным ливнем, и жить в чередовании тепла и прохлады нам привычнее и безопасней. Слово изредка — лишь в моменты потрясения и чуда — говорит с нами от собственного имени, оставаясь большей частью неузнанным, как бы запрятанным в нашей душевной плоти. И земные, бранные, душевные эти одеяния то и дело прикрывают напрочь и даже заменяют собою то, что в себе содержат. Не то Слово, которое доносится из совести, не тот Лик, который отражается в вере, но многообразные их преломления, перемешанные с иными словами и ликами, глухие, теряющиеся, или, напротив, заманчивые и яркие, облеченные в художественные и мистические восприятия и опыты, начинают выдавать себя за самые надежные, близкие подлинники, за всевозможные нравственные, эстетические или иные авторитеты, и в силу требовательной "изреченности" своей и нашей способности слышать то, что мы хотим слышать, добиваются видимого успеха.

/Говорю "начинают", потому что мы живем в отпущенном нам времени, и взаимоотношения наши со Словом также подчинены ему. Духовные возрасты не равны по своей восприимчивости, и у "приходящего в мир" слух все же здоровее, чем у уходящего, уносящего с собой бремя душевных своих вывихов и лукавств. Первоначальное здоровье нельзя уравнивать с перенесенными травмами, плохо залеченными недугами, нажитым склерозом, и чище младен-

чества бывает только созревшая святость. И хотя эту первозданность никак не назовешь безгрешной, она имеет все же некоторое преимущество, скажем, перед старостью, заматеревшей в опыте упорного глушения Слова или тайного противления ему/.

Такое противление кажется неотъемлемым от здешнего человеческого удела. И потому всю весть христианства можно передать одним апостольским призывом } "от имени Христова": "примиритесь с Богом" /2 Кор.5,20/. Это значит: победите раздор внутренний, вызванный тщетными человеческими уловками обойтись без Бога, Который создал нас для Себя" и не может без нас обойтись, откройте дверь Слову, не мешайте любви Божией помогать-ся вашего сердца. Тема нынешнего размышления — человеческое приспособление к такому раздору, умение жить в нем, как бы ограждая себя от его неудобств, жить в иллюзии мира, жить с иными богами. Иллюзия скрывает за собой забытую и глухую войну, потому что иные боги ревнивы и завистливы, а Слово не оставляет нас своими "ходатайствами". Однако и залепив от него уши, мы не достигаем полной герметичности. Но то, что доходит до нашего слуха, мы принимаем за нечто другое, свое, и если "совесть" еще не исчезла из нашего лексикона, то эту подмену — единственной вести какой-то своей — мы и почитаем своей настоящей совестью. Так возникает двойник ее, во многом ей подобный, и даже обладающий той же прерогативой говорить с нами внутренним голосом. Так заявляет о себе иное со-ведение, включающее в себя самосознание "я" и какую-то темную осведомленность об отброшенном и припрятанном Слове. И тогда Слово — ныне замолченное и не допущенное к звучанию — вызывает невидимое расщепление совести. Тяжба с ним отпечатывается в нашем духе. Условимся на том, чтобы именовать такое расщепление "двойным сознанием" — не с философским или политическим акцентом /достаточно поздним и производным/, но прислушиваясь к его исходно-христианскому смыслу.

Новый Завет дает уже достаточно четкую формулу этого расщепления. "Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих" /Иак.1,8/. Ил-славянски же: "муж двоедушен нестроен.." и также по латыни и по-гречески.

— это и есть , каким мы его встречаем повсюду — на улице, в каком-либо из присутственных мест,

во всех ступенях общественной лестницы. Книги его стоят на наших полках, искусство и умозрение изображают его в утонченном и прихотливом ракурсе, фабрики пропаганды подают его крупным планом.

— это по необходимости краткое, но точное описание человека "как он есть", того его исторического вида, что нам известен, если рассматривать его, исходя из восхождения Бога, сквозь призму внедрения Бога в историю и человеческую душу и крестной судьбы Бога среди людей. Распятие Слова, коим был сотворен мир, явилось судом "миру сему", но одновременно оно стало фокусом и эмблемой самодавящей праведности этого мира с его законами социальной жизни, агрессивной моралью, культами государственных интересов, кодексами чести, религиями национализма и т.п. Первосвященники на процессе в Иерусалиме могли быть несокрушимо правы, следуя непробиваемой логике своего охранительного благочестия и попечения о "малых сих", и точно так же каждый из нас по своим резонам может быть правым на том суде, который мы затеваем, дабы оградить себя от посягательств Духа. По крайней мере Закон, ради которого первосвященники приносили Иисуса в жертву, оставлял им больше простора для того, чтобы положить свою правоту в основание приговора и обратить ее в орудие казни. Разумеется, повиновались они и одной из извечных человеческих потребностей: быть несокрушимо правым и со скалы своей правоты еще и судить. И тогда, и ныне: не только с себе подобными, но и с Богом самим человек умеет связать себя так хитро, что заводит на Него дело или уже начинает слушание, а сам оказывается среди праведников. Бог бывает судим, когда человек /индивидуальный или же групповой, сплюснутый в массу, организованный "исторически"/ прямо и крепко шагает под стягами своей правоты. /Шагает — иной раз и по самым христианским делам/. И все же, после рождения Христа правота эта где-то треснула, "разодралась надвое", как завеса в Храме, и человек при всем неоспоримом статусе своей правоты /о нем еще пойдет речь/, под всеми своими жесткими, гулкими скорлупками как будто стал "уязвимей". Распятие — как исторический факт и событие внутри человеческого духа — освободило его от власти идолов, опутывавших его своими правдами-кривдами. Оно отпустило его на свободу, неслыханную до Христа, и в то же время поставило его перед внутренним Свидетелем, перед тем вы-

зовом, от которого ему не дано уклониться.

Взять хотя бы ~~приведенные~~ философские системы нашего века, и прежде всего те из них, что выставляют неверие на первый план, — разве не вышли они из своих недр со следами темной ночной борьбы со Словом? Стоило бы посмотреть на результаты этой борьбы — коль скоро философия выявляет наиболее отточенные образцы мышления — с точки зрения "вызова" и "ответа" /в понятиях А. Тойнби/, стоило бы вычленив и проанализировать в каждом из них это изначальное человеческое "нет", извлеченное из-под фундамента всей постройки,, то "нет", которое своим философским рождением обязано божескому "да", ищущему всякого человека. Однако, как только "нет" получает от нас право голоса, как только образом мысли или образом жизни мы вновь и вновь скрепляем приговор Слову, от которого так по-человечески хотим поскорее отделаться, то и "двойное сознание" незамедлительно /будем помнить об условности времен/ вступает в свои первосвященнические, понти-пилатовские права. Чтобы заглушить в себе внутренний раздор, оно и начинает как раз открытый или скорее секретный, закрытый процесс против Слова Божия, не имеющего, кроме "неизреченных ходатайств" никаких аргументов в свою защиту. Процесс совершается на закрытой от нас глубине, но он находит свое доступное нам выражение, пользуясь понятными нам знаками, ибо прежде всего переводится на язык разума. Разум-же, — если чья-то чужая, напираящая правота диктует ему роль судьи, — сам оказывается функцией в системе его делопроизводства. Он подыскивает доказательства, подбирает жесвидетелей, трудится в поте лица, чтобы сделать Слово безгласным, а то, что остается "неизреченным", обратить в свое эстетическое достояние. И это отлично ему удается и до времени — пусть даже на протяжении целой исторической эпохи — сходит с рук. Подобная удача и цвпкая его ловкость разрастается затем в ветвистое дерево какого-либо философского или научного мировоззрения, а иной раз осаждается и твердеет в качестве социального уклада.

Нет, по правде говоря, никак не скажешь, что мы живем в бессовестную эпоху. Видимым образом, если не сама мораль, то какой-то новый жаргон или код ее, если не добродетель собственной персоной, то ее актеры и подставные лица повсюду

являются господами положения. Скорее уж мы живем в эпоху подделанной совести /и когда возразят, что совесть человеческая никогда не могла похвалиться массовой искренностью и отличным здоровьем, я поправлюсь тем, что бес нынешнего ее притворства все же несомненно отличается от беса вчерашнего/; ну, а если быть более точным, мы живем под тотальным диктатом искусственно изготовленной совести, в период правления передразнивающего ее временщика — научно, культурно, политически и поэтически институализированного двойного сознания. Двойного потому, что и под его пятой Слово взыскует нас, и мы, даже топая на него ногами и зажимая уши, все же чем-то должны ответить, ибо "на сие¹ самсе и создал нас Бог и дал нам залог Духа" /2 Кор. 5, 5/. Слово, которым Бог будет судить тайные дела человеков, под этим диктатом выталкивается речами человеческими, и Христос не препятствует Суду над Собой. И двенадцати легионов Ангелов не призывает Он на голову нашей юриспруденции или системы насилия и делопроизводства, в защиту от наших прокуроров и обвинительных актов — на все то, что утверждает себя, исходя из такого сложившегося, окостеневшего двойного и лукавого ведения Его.

Не забудем, однако, что "муж двседушен" живет, понятно, не только в келье своего одиночества, поигрывая в прятки со своими мыслями. Двойное сознание держится и крепится тем, что вступает в своего рода заговор с другими сознаниями, совладельцами общих секретов и коллегами по части двойной бухгалтерии, а в них никогда не случается недостатка. "Двоение мыслей" сообща переносится легче и незаметней, тем более, что, будучи проецированным на сознание коллективное, далеко отодвинутое от рсящегося душевного хаоса индивида, введенное в гранитные берега, оно внешним образом снимается перед лицом Духа, ходатайствующего о Себе лишь с глазу на глаз. Оно санкционируется теперь инстанцией запредельной, всеобщей, наделенной прерогативой вязать и решать. Эту конденсированную форму двоемыслия или этот институт коллективно упрятанного, но тревожащего двседушия, пожалуй, и не назвать иначе как и д е о л о г и е й, словом избитым и размоченным, но понимаемым всеми по-разному.

Что есть идеология? В популярном виде — психологическая

организация социальной общности, цементированный идеал человеческой группы, ею же созданный. Раствор этой смеси может включать в себя и недостижимые ценности, и вознесенные над землей нормы, и цели, отнесенные к горизонту, и все же идеология — это непременно воображаемая апология сегодняшнего эмпирического состояния общества или индивида /в какой-то мере производного от него/, пусть даже словесные материалы для нее берутся из потустороннего мира или трансцендентного будущего. Идеологическими в равной мере могут быть и наука, и музыка, из чего, конечно, не следует, что всякая наука, любое творчество — тотчас идеология. Все зависит от их подключенности к какому-либо сверхзнанию — мифу, а также от того, какого рода служению подчиняем мы текущую в нас от Слова жизнь духа. Впрочем, человек — по древнему определению — животное по природе своей общественное, живущее среди собратьев, включенное так или иначе в историю, и потому представлять его вовсе исключенным из идеологии было бы нелепо. По выражению одного современного марксиста /Л.Альтюссера/, идеология выделяется железами внутренней секреции всякого живого социального организма. Однако в понятии идеологии, столь широком, что оно легко может разместить на своей территории весь род человеческий, отдельному микрокосму недолго и затеряться. Коль скоро идеология присутствует всегда и повсюду, какой нам смысл о ней вообще говорить? Уточним: она интересует нас здесь прежде всего как способ человеческого со-существования со Словом, как состояние души, которую Слово хочет занять, когда человек, верно, из чувства самосохранения, хочет от Слова отгородиться. Для этого он строит себе надежное убежище, залезает в мировоззренческую конуру, окутывает себя эмоциональным или интеллектуальным коконом, каковым может быть и самое лихое вольномыслие и самая истовая и примерная религиозность.

Такое описание произвольно и своеобразно, но мы и не ищем здесь некой усредненной объективности, научно-удобной для всех. Идеология по своей функции утверждает нас в том существовании, в том модусе бытия, в том образе мышления и мироощущения, в котором мы оказываемся как в крепости. В этой крепости мы проживаем вместе с войском наших единомышленников. В качестве организации рациональной, приносящей пользу /т.е.

занятой упорядочением, экономным ограничением и стабильной направленностью работы нашей души/, идеология заказывается и закладывается тем обществом или субъектом, коим и должна служить. "Идеология есть оправдание" /Т. Адорно/, разумеется, и даже потаенная крышка. Но изнутри личности /откуда мы и хотим понаблюдать за ней/ она предстает своего рода плоскостью, на которую падает воспринимаемое отражение нашего "я", индивидуального или коллективного, а скорее и того и другого вместе /ибо тогда, когда "я" теряется в "мы", оно прочнее всего ощущает свою неповторимую самость/. Мы видим себя в ней как в зеркале, но в весьма лестном свете. Однако этот парадный портрет, что торчит у нас перед глазами, создан как бы вне пространственной перспективы; взглянемся: как вампиризированный персонаж из "Мастера и Маргариты" он не отбрасывает тени, более того, он словно распластался по стене. И потому идеологией мы называем здесь лишь поверхностный, "защитный" слой сознания, тот спрессованный стереотип, который навязывается нам извне и изнутри. Сверху ли под воздействием вездесущих социальных механизмов, снизу ли под давлением всемогущих инстинктов приспособления и вытеснения, душа человека с силой, превосходящей ее способности к сопротивлению, притискивается к готовому или /что несравненно реже/ самостоятельно ею созданному образу представлений, отработанных реакций, проторенных мыслей, изношенных эмоций, как бы поневоле воспроизводя их, и при этом бессознательно, но неуслышно отсекая то, что делает мир неожиданным и несокрытым. Он сотворен ~~был~~ был "добрым" и многомерным, радостным предоставлен человеческому восприятию; идеологический же способ созерцания мира, настроенный даже в мажорном ключе, воспринимает его всегда как бы приплюснутым, подозрительным и по преимуществу злым.

Первый знак приплюснутости — несвобода; человек внутренне связан проторенными им путями и выношенными чувствами; другой ее знак — снятость тайны. Идеология может обивать пороги всех "мировых загадок" и делать "духовную карьеру", но тайна высыхает внутри нее, хотя — как и все остальное — порою делается изучаемым ею объектом. Оставаясь владельцами своего религиозного мировоззрения, мы вольны его изучать, корректировать и ставить вокруг него проблемы. Проблемы же эти, стоит только

начать, слегка перефразируя Дж.А.Т.Робинсона, "честно" ставить их "перед Богом", в конце концов, так обложат небосвод, что на нем и не разглядишь ничего, кроме моросящих туч и вопросительных знаков. Принято думать, что "религиозная идеология" — ярмо консерваторов, мохом обросших обрядоверов, принимающих за неколебимую истину всякое писание старины или изречение церковного авторитета. Разумеется, это удобная мишень, на которой, что называется, можно отвести душу идеология реформаторов, притязающих на "открытость современным проблемам" и на согласование евангельских чудес с научной картиной мира, что непрочь поговорить о кризисе не поспевающей за миром Церкви и при попутном ветре идущих от "христианства догматики" к "христианству проблематики". Увы, никакая справка с печатью о "радикальности" наших позиций не в силах освободить нас от всеобщей идеологической повинности; лишь Само Слово — в той мере, в какой мы сами изнутри открыты Ему — может взять на себя здесь роль своего рода . Если в откровении, вошедшем в нас, не остается никаким познанием не разложимого фермента тайны, оно неизбежно покрывается идеологической коростой, но если тайна не высветлена до конца откровением, она перерождается в какую-либо эзотерическую идеологию. И только Христос, внедренный в основу человеческого существования, коль скоро мы даем Ему выразить себя в нем, коль скоро мы даем Ему заговорить в нашей вере или совести, может сохранить нас от тех или иных перерождений.

В наше время, когда говорят об идеологии, противопоставляя ее какой-нибудь экзистенциальной, личностной истине, первым делом вспоминают о неподлинности. Идеология неподлинна в том смысле, в каком подлинным бывает стихийный поток жизни или напор подсознания. Но неподлинность — лишь собирательное свойство, некий неразличимый фон, возникающий из наложения многих слоев защитной краски. Эта краска изготавливается из безликости и двусмысленности, из субъективности, замкнутой в себе самой и одновременно растворяющейся в толпе, из воли к господству и разделению, собирающей многих индивидов как в одной идеальной Персоне. Такая Персона играет роль идеологического манекена, чьи костюмы, парики и улыбки напяливаются на всякого, кто находится в ее власти и рождается на ее земле. Носить его костюмы, разделять его мысли совсем нетрудно; по первому же сиг-

наду можно даже единодушно "вскипать" его чувствами, ведь и "двоедушные", избавленные от сомнений, вытеснившие из себя все нежелательные элементы, обладает неподдельной искренностью. В краску неподлинности входит еще и оттенок призрачности, и вместе с тем в ней всегда кричащая аляповатость и грубость, неразлично забивающая находящиеся рядом цвета; идеология окрашивает собою всё, к чему прикасается, и мигом может стать всем, чем ее диалектика прикажет ей стать. Ею делается не только содержание душ, фильмов или газетных полос, но и стрижка волос или выращивание злаков может при определенных обстоятельствах в нее превратиться. И нет такого слова в языке, и такой завалящей вещицы в мироздании, что не могли бы, если прикажут или доверят, нести на себе идеологическую нагрузку. Это свойство на научном языке лукаво и растяжимо называют ее "относительной самостоятельностью", ибо идеология бывает столь деятельна и независима, что на своих угодьях она собственной мнимостью может заслонить какую угодно действительность, и, создавая царство из своих снов и слес, не стоит за ценой в расчете головами своих пасомых.

И потому точнее противопоставлять идеологию не истине и не подлинности, а просто **реальности**, коей мы не вправе изменять, понимая под ней как реальность мира во вне, так и реальность Слова внутри нас. Конечно же, идеология, "объективно отражая" действительность, не может забыть о ней вовсе, однако, через себя ее пропуская, она на ней может паразитировать. Так, не будучи ни верой, ни совестью, она стлично умеет говорить за них, потому что обучена их жестам, носит их маску или под них гримируется. Некогда в мире, читающем Евангелие, ересь искоренялась целыми областями, и допускалась /как и сейчас допускается/ проституция детей, и нормальным делом считалась деревянная клетка для душевнобольного. Ныне стчасти законы изменились, как, впрочем, и вывески. Мир сильно подвинулся к человечности, и мы можем похвастать, что ее имитируют на совесть. Снимите с этой имитации многозначное число ксерокопий "сочувствия угнетенным", помножьте их на весь тираж "справедливого возмущения", возведите все это в степнь "беззаветной преданности" — и, оказавшись в мареве **!полых слов!**, вы поймете, что границы идеологии, по выражению А.Безансона, могут сов-

падать лишь с границами вселенной. Не так уж они невесомы, соломенные речевые эти брикеты; мегатоннами выбрасываются они в мир, пропагандная промышленность не перестает производить их, подключенная к ней культура не устает их сублимировать. Не так уж они и незначущи: сжатая под большим давлением эта словесная труха образует в наше время надежный, зарекомендовавший себя материал для строительства крепких тюрем и вавилонских башен. Попробуйте подышать ее пылью и не заметите, как она залепит вам уши, забьется в легкие, осядет на стенках сосудов. Да что там! — сосуды истории уже закупорены ею. Если посмотреть, на какие фикции расходовало человечество свои лучшие помыслы /рожденные в звездные часы его искренности/, то наследие его греха, его падшести и плененности духа перестанет быть отвлеченным понятием. Идеология, вышедшая из этих помыслов, не только разбивала свои отроческие мечты, иной раз кажется, что она нарочно глумилась над ними, соблазняя своих адептов переживанием общности, чувством "семьи единой", собравшейся под крышей одних идеалов, где отец лжи и человекоубийства искони чувствовал себя в наибольшей безопасности.

Что такое идеологическая общность? Откуда она берется? И кто хозяин ее? Где обитает тот, кто соединяет нас в идеях, до которых мы никогда бы не додумались, и внушает нам страсти, которые мы никогда не испытали бы сами по себе? У тех идей, по сути, нет автора, у этих страстей нет конкретного, kloko-чущего ими героя; иногда ими делаются медиумы-вожди или коллективы-личности, катализаторы брожений, протекающих в человеческих скоплениях. Однако меня неправильно поймут, если увидят в этих строках еще один апофеоз романтического одиночества или морализирование над историей, катящейся всегда в стороне от земли обетованной. Ибо никакое паломничество к самому себе не избавит нас от общей упряжки. Открытие Слова прежде всего говорит о его разлученности с нами. Зато с идеологией мы всегда дома, на правильном месте, и она заявляет о себе хорошо поставленным голосом. Открытие Слова позволяет нам увидеть стертость собственных наших чувств, анонимность мыслей, пустоту душевных трат, "заведенность" наших реакций на привычные раздражители. Зато идеология открывает для нас прокат чувств иных, правда, несколько ходульных, но приподня-

тых, сочных, так сказать, бьющих ключом. Открытие Слова бросает свет и на двусмысленность нашего языка, на паллиативность культуры, на оторванность того, чем мы повседневно живем, от своего питающего корня и первоначального смысла. Идеология же избавляет нас от лишних подозрений, она награждает нас чувством цельности, за которым "двоедушные" в отношении к Слову устраиваются как за каменной стеной.

Ибо присутствие того, что подлинно в нас, указывает на вторичность и отраженность того, что мы нередко считаем своим внутренним миром. Этот мир полон отражений Слова и откликов на него, что, разделившись с ним, могут стать как бы его двойниками. Они способны вырабатывать особый подражательный или заклинательный язык и служить проводниками чужой, безликой и управляющей ими воли к власти. От изначального расщепления совести, "признающей идолов" /2 Кор.8,7/, начинается череда мировоззренческих обличений всё более замаскированного двоедушия, и чем дальше уходит оно от корней, соединяющих его со Словом, тем "радикальней" и ядовитей становится то словесное облако, которое оно из себя выпускает. Идеология может бесконечно раздуваться и разбухать на дрожжах своих вымыслов и утопий, и, повторю вновь, нет такой чрезмерной цены, что она была бы не готова заплатить за водворение ее господства. Когда она настигает действительность, о которой имеет собственное понятие, и навязывает ей себя, то ее плотью и кровью словно хочет компенсировать внутреннюю свою призрачность. Как поверить, что иногда в душах некормленных русских интеллигентов, бывших, подобно одному из героев Достоевского, "воплощенной укоризной" для всей России, уже высидивались яйца тех идеологических фантомов, которые порождают разум, отождествивший себя с движением истории, и тем самым себя ослепивший и впаавший в летаргическую спячку?

Ибо за порогом отделения от Слова, вольного разделения с ним, все разреженнее делается воздух свободы, и все жестче действует механизм отчуждений и объективаций, звенья которого так отчетливо сложились в развитии нашего секуляризованного гуманизма. Идеологическое сознание всегда несет на себе печать обособленности и разделенности, но противоположной той, о которой говорил Христос. "Не мир, но разделение" в Его устах оз-

начало прежде всего уязвимость Благой Вести, ее способность сосредотачивать на себе ярость греха, ее испытующую требовательность к нам. Разделяясь с этой Вестью, мы и укрываемся в двоедушие, т.е. идем на раздор с Богом, с другими и с самими собой. Сам пафос такого разделения принадлежит Разделителю, и знаком величайшего разделения — людей от Бога — стала Голгофа. Однако признаем, что Голгофа послужила также и некоторому соединению, что она явилась следствием негласного заговора, в который — перед лицом Христа — вступило окаменелое двоемыслие усталого римского равнодушия с разгоряченным двоедушием фарисейского фанатизма. Первосвященники и Пилат сумели договориться друг с другом, хотя и не хотели пачкать руки о распятие; скорее всего потому, что как люди, т.е. существа, отмеченные Словом, они не могли быть до конца несведущи в том, Кого распинают.

Двойное сознание универсально, его работу и хватку узнаешь во все времена. Что касается идеологии, то в какой бы цвет ни было выкрашено ее знамя, импульсы ее неизменны: разделение и господство. Разделение /если брать его суть/: сердца и Слова, веры и совести, благодати и суда, откровения и тайны /внутри веры/, Вести и этики /внутри совести/... И то, что отделилось от своего истока, зажило обособленно в тесной, гудкой от отражений раковине, заряженное волей к вытеснению всего иного, кажущегося враждебным. Идеология обладает свойством собирать вокруг себя заговор криводушных, сколачивать общину двоемыслия, где победившее начало господствует над вытесненным, но где вытесненное — подавленное, табуированное, заряженное злом — непременно проецируется на противоположную сторону — на чучело чаще всего вымышленного противника — и где сучок в собственном моем глазу непременно оказывается бревном в очах моего идеологического супостата...

ПО ПЛОДАМ ПОМЫСЛОВ ИХ

Идеологией, разумеется, обладаем все мы, верующие и неверующие, каждый своей, ибо, как говорит К.С.Льюис, "разум человека ровно настолько вмещает вечный Разум, насколько это позволяет состояние мозга". Мозг же наш помещается в теле, а тело в обществе, во взаимодействии с каковым он и вырабатывает миро-

воззрения, которых, собственно, нам незачем стыдиться. Вопрос в принципе заключается в том, в какой мере эти мировоззрения, а за ними человеческая душа, которая в них завернулась, способны пропускать через себя Свет, что нам посылается. Чаще всего, даже веруя в Свет, мы отступаем от него в тень, потому что не можем вынести его в чистом виде. Одним Светом жить умеют лишь те, кого называют святыми. Сколь удивительно не обременен был идеологиями апостол Павел, что так свободно мог говорить о себе: "Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых" /Кор. I, 9, 19-22/. Не побоимся добавить сюда революционеров и защитников устоев, националистов и космополитов, экуменистов и охранителей, гуманистов и традиционалистов, социалистов и либералов, демократов и почвенников — кого еще? — "для всех я сделался всем", ибо в каждой из этих разделенных вер земных сумел угадать какую-то человеческую правду и войти в нее и душой разделить ее порыв со всяким, чье сердце питается от нее, но разделить лишь до того момента, пока эта частица правды не начнет раздуваться в идола, встающего на пути Евангелия Христова. Уж если без мировоззрений совсем нельзя обойтись, благословим их многообразие, предпочтем даже сумятицу их, дабы, дробясь, и обкатывая друг друга, они весили как можно меньше. Сегодня я могу говорить с моим ближним на языке его закона, который он считает единственно возможным, завтра — с той же искренностью — на языке его врага, допускающего для себя /да и непременно всего человечества/ закон противоположный, потому что при этом я связан верностью только Слову, отзвуки которого можно услышать и там, и здесь. "Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною..." Душа живет в теле, но в ином смысле — также и во плоти здешних, земных убеждений; и тело физическое и душевную плоть чему-то надо питать, чтобы поддерживать их брэнное существование. Павел предостерегает лишь от "трапезы бесовской", а в остальном выбор пищи предоставляет в общем-то человеческому усмотрению.

нию. Тот же принцип может действовать и в отношении идеологического продукта: если это не "причастие буйвола", если не явная отрава для Слова /судить о чем вправе лишь наша совесть/, мы вольны выбирать любой себе по вкусу. Ибо "пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое" /I Кор.6, 12-13/.

Но не тому ли Апостолу принадлежат слова, казалось бы, набрякшие от вековых тяжелых испарений рабства: "Всякая душа да будет покорна высшим властям... Противящийся власти противится Божию установлению" /Рим.13,1-2/? Верно, но слова эти чаще всего отделяли от других, не менее категорических: "Вы куплены дорогой ценой; не делайтесь рабами людей" /I Кор.7,23/. Как же, однако, не делаясь рабами, покоряться властям, которые, хоть они "от Бога установлены", так часто ищут всецелого использования человека в целях ими, властями, лишь предусмотренных? И как тогда быть с человеческой душой, что ведь тоже идет нередко в общий котел мобилизованных властями ресурсов? Не вслушаемся в контекст этого апостольского увещания: "Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь" /Рим.13,7/. Что ж, платите дань земле, но не пресмыкайтесь перед ее стихиями, покорствуйте ее законам, нуждам, мировоззрениям, но не растрачивайте на них огня, который сведен в ваши души. И да будет душа ваша покорна властям, но затем, чтобы не отдать Слова в ней никакому земному порабощению. Вы куплены дорогой ценой, не подчиняйте себя страстям, равно и не отдавайте душ ваших в ярмо идеологий века сего. Носите хомуты их с легкостью, платите им положенный оброк, но ни на грош не более оброка, и живите под всякой властью, оставаясь в той единственной, ни с каким начальством не делимой свободе, "которую даровал нам Христос..."

"...и не подвергайтесь опять игу рабства" /Гал.5,1/. Однако иное дело вовсе, когда те же слова о покорности Иван Грозный тычет князю Курбскому или трубно цитирует их сегодняшний ревнитель послушания; ревность доводит порой до того, что священной богоустановленностью власти начинается и кончается у него все христианство. Пусть все мы рождаемся согбенными перед кесарем, нужно ли еще богословствовать во освящение этой согбенности, дабы никто не вздумал еретически взять да и выпрямить-

ся? В устах многих любителей этой цитаты о послушании апостольский наказ мигом сморщивается и сжимается в идеологический кулак, тот, который бьет по головам других и нуждается в благословении, или тот, что всегда покоится на нашей собственной голове и всячески нуждается в задабривании. Послушайся Павел "кулачного" их богословия, уж никак не стать ему "апостолом языков", со своей беззастенчивой, и конечно же, совершенно не нужной ни римским, ни прочим властям религиозной пропагандой! Слова его, вырванные из контекста всего его дела и благовестия, легко могут быть обращены на служение исключительно кесарю /и не только сегодняшнему, но и всеобщему, кесарю-принципу, кесарю-идолу/, по тем или иным причинам всегда нуждающемуся в поддержке и одобрении еще и трансцендентного мира, как бы ему ~~еще~~ пока неподведомственного. "Послушание власти" никогда не означает "ига рабства" /в самом прямом смысле "ига" ничуть не символического "рабства"/, и его можно понять, исходя из безумия Креста и его свободы, равно как и исходя из рассудительности кнута и премудрого его "благочиния".

Идеология отлично умеет притворяться и очищенной верой, и отзвучившей совестью, но в отличие от своих прототипов, усвоение которых трудно и требует неослабевающих долгих усилий, она легко пожирается в лошадиных дозах, и на нее не пропадает аппетит. Непитательность этого продукта требует, чтобы его было много, и вкус сегодняшней порции не отличался от вкуса вчерашней. /Не правда ли, при ежедневном проглатывании газет чувствительность к различению сегодняшнего и вчерашнего, по сути, полностью исчезает?/. Идеологическое сознание пребывает как бы в состоянии постоянного голодного зуда, оно требует для себя подпитки, которая поддерживала бы его на необходимом уровне отяжелевшей совести, забивающей неискоренимый человеческий голод по Слову... Как не заметить этой рыхлой, одутливой сытости на лицах, скажем, атеистов-профессионалов, не равнодушных агностиков, нет, но отменных, отборных специалистов своего дела, когда на последнем аккорде своих лекций и сочинений они шумно вздыхают о том, что лицемерным сочувствием иной раз церковники и сектанты затягивают к себе отбившуюся от стада душу. И в момент кульминационного вывода, примерно со второй половины вдоха — что пора, мол, и нам, людям с передовым ми-

ровоззрением, проявлять большую заботу о человеке, щеки их лоснятся, а нутро — приглядитесь! — прямо-таки сводит и распирает икотой от того количества проглоченных идеологических концентратов, коими оно набито.

Впрочем, "дипломированным лакеям бес-поповщины!" — какими им иначе-то быть? Но посмотришь на другую сторону — как часто обнаруживается прямое подобие! В прежние времена господствовала в основном дородная сытость фарисейства, ныне же, в век "потрясения сознаний", все тверже становится голос сыто упитанного мытарства. За многими декларациями сегодняшней "христианской совести" иногда совершенно явственно слышишь благодарность ее носителя за то, что он не таков, как прочие люди, и не похож на заскорузлого этого церковника, закомплексованного своими страхами и подавившегося несъедобным законничеством своим. Поститься? — вообще не вопрос; жертвовать храму? — он почти туда не заходит; что касается заповедей, то разговор с них "христианская совесть" считает вообще бестактностью и нахальным личным намеком. Достаточно и того, что она любит ближнего своего /хотя **ни** каждого конкретно, по правде говоря, смотреть не может без ствращения/, что незамедлительно чутко реагирует она со стороны на разную там неправду в мире, что трезво и бескомпромиссно звучит в нем ее негодование! Какие запасы мужества находит она в себе для произнесения горьких приговоров в лицо "исторической Церкви", с каким же продуманным чувством собственного достоинства проходит она мимо этой протухшей церковной таможни, где только и норовят по-полицейски залезть в ее душевный багаж! Зачем отправляться в крестовые походы или вставать на "невидимую брань", когда грехи наши заведомо отпущены в силу того, что наше "я" укрылось под кровом идеологии, априорно безгрешной по астральной природе своей? Это "я" — уже не то эмпирическое существо, не лишенное ряда вопиющих человеческих слабостей и немногих чахлах достоинств, каковым оно выглядит в жизни; в доспехах идеологии — это идеальное, метафизическое "я", наделенное полной обоймой символических добродетелей. Любые трофеи — не исключая и дарового Царства Небесного — как бы уже сложены к его ногам. Однако здесь кроется нечто весьма коварное и даже трагикомическое: в идеологическом сознании символический уровень мышления смешивается с восприятием реаль-

ности /той же, скажем, реальности своего насущного "я"/, счастья или даже полностью закрывая ее собою. Незачем и говорить, что при такой подмене, под таким прикрытием может происходить всё, что угодно, и часто даже противоположное тому, что выставлено напоказ. Не убоимся еще раз напомнить о банальности: идеология вовсе не обязательно морочит другого и помещается в чужой голове. Мы легко отыщем ее в себе, когда всмотримся не в то содержание, которое изображено на "плоскости" нашего сознания, не в тот пейзаж, который мы повесили у себя перед глазами, а в то, что ими прикрыто.

Двоедушие, о котором мы заговорили здесь, связывая его с наследием греха, отметившим каждого, в любом из нас выстраивает ту или иную систему прикрытия, уберегающего нас от Слова и всего того, что выводится им на свет. Поднявшись со дна души, это прикрытие становится как бы универсальной закономерностью этого мира, его нависающей, утаенной, подстерегающей необходимостью. Его нам жалует как бы из сострадания остающийся анонимным и безымянным и крепко держащийся своей анонимности и безымянности бог мира сего. Внешние прикрытия постоянно меняются, ибо человеческое лукавство овладевает все более хитрыми приемами, чтобы заслонить реальность, которую человек не хочет знать, от того света, что ее обнажает. И потому Христос, живущий в нас, остается по слову Иоанна Павла II, "величайшим реалистом во всей истории человека". Между той реальностью, которую Он являет Собою, и ирреальностью человеческих идеологий-прикрытий, где люди играют свои роли, и роли играют в людей, человек странствует и мечется с историей на плечах и ищет самого себя.

Вспомним слова: ",...исходящее из уст — из сердца исходит; сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы убийства..." /Мф. 15, 18-19/. Под прикрытием любых речей помыслы, которые вырываются из сердца, могут творить свой вымышленный мир, мир вымыслов, где реальна только сама их каменная власть над создавшим их человеком. Под этой властью он ощущает себя скованным более, чем когда бы то ни было, намертво вкрученным в лязгающий механизм открытых им "материальных" законов, ведущих свою родословную откуда угодно, только не из "скверны сердца". Христианские гуманисты, пожалуй, поторопились заявить о "повзрослении мира", коль скоро люди в нем — не когда-нибудь,

а на наших глазах! — все еще мастерят словесных идолов и поклоняются делу рук своих, и приносят им человеческие жертвы без счета! И можно ли где-то убедиться наглядней в неодолимой и царственной реальности Слова Божия, как не там именно, где оно видимым образом посрамлено и затоптано, где вся власть дана как будто современным идеологиям-оборотням и стенающим в них "демонам глухонемым"? Слово, отвергнутое миром, и ныне и вечно дает прочитать себя в судьбе человека. Но пойдем ли мы когда-нибудь язык его, научимся ли мы читать по собственной нашей судьбе?

"Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу,
плод помыслов их;
Ибо они слов Моих не слушали
И закон Мой отвергли"

/Иер. 6, 19/.

Разве не познаются идолы прежде всего по душам, взятым на служение им? Ибо они пасут свое стадо не только кнутом, но и гипнозом, и пасомые отдают им свои глаза и уши, обязуясь не видеть и не слышать ничего, кроме того, что фантому будет угодно им показать и представить. Опутывая по рукам и ногам каждого из них, сей плод коллективных помыслов награждает его званием Человека, звучащим гордо и громко, именует его неким громадным и могучим "Мы", вбирающим в себя души тех, кого представляет. Это "Мы" говорит: все ко мне, ибо я владею ключами от всех загадок, я — средоточие самого текущего времени. Со мной мое царство и в руках моих сила, и только из этих рук вы получите хлеб и свободу, и только под моей властью обеспечите расцвет вашим личностям. И — как говорили стойки — покорные идут, ~~напопыхавшись~~ непокорных тащат; с вымученной горячностью, не меняя ни слога, ни запятой, мы повторяем формулу своего затурканного процветания. Фантом метит людей не только кошмарным однообразием, но и замыкает их в пределах собственной ирреальности. Не имея иного судьи над миром, кроме себя самой, всякая идеология, притязающая быть единственной и тотальной, тянется к господству и власти над любым кусочком реального пространства, дабы стать ей "от бога установленной" и уже как бы несущей нетерпеливое это божество у себя под сердцем.

Приходя в мир, это новое существо с природой падшего ангела стремится сделать мир зеркальным своим отражением, и это тем лучше ему удастся, чем менее открыто оно обнаруживает себя, чуть ли не искренне притворяясь вполне простодушным или, как само оно говорит, "объективным" отражением этого мира. Вот почему заглушение Вести, погашение волн ее, доведенный до конца отказ от несотворенной реальности внутри нас, в итоге своим путем особой диалектики приводит нас и к разрыву с тварной реальностью вне нас, к самозатсчению во лжи, к попытке идеологической шизофренией, изобретенной или по крайней мере сильно усовершенствованной нынешним веком.

"За то — живу Я! говорит Господь Бог, — поступлю с тобою по ненависти твоей и зависти твоей" /Иез.35, II/. Там, где Бог изгоняется из человеческого мира, Он дает узнать Себя из суда над Ним. Там, где Он не полагает преграды ненависти к Нему, происходит непреложный суд над гонителями Его, оказавшимися во власти сфабрикованной ими идеологии. Не поверив "исходящему из уст" ее родоначальников и пророков, Бог дал свершиться тому, что "изошло из сердца". Нечистая совесть, мать сегодняшнего фантома, обнаружила себя по плодам своих помыслов. Кумиры разоблачают себя свесей победой. Но не будем и превозноситься, загромождаясь прошлым: история идеологических фантомов началась не со вчерашнего дня. Уже Иеремия говорит больше всего с лжи священников и пророков. Да и сам огонек веры, как мы знаем, может начать коптить. "Одна капля твари вытесняет всего Бога", — сказано где-то у Мейстера Экхарта. Что такое "идоложертвенные яства", мы знаем, — признает апостол Павел, — но знание надмевает, а любовь назидает" /I Кор.8, II/. Ибо ложь, исходящая из сердца, иной раз осаждается на дне самых лучших представлений и вер. В каких же тогда краях искать нам ручательство истины? Любая сумма убеждений или система взглядов, что образуется в нас в ответ на пробуждение Слова, никогда не остается до конца защищенной от опасности двоедушия в апостольском смысле. Все это размышление об идолах, вьющих гнезда в идеях, должно напомнить нам, что человек может таить в себе угрозу, с которой часто не в силах бывает справиться. Но не есть ли эта угроза обратная сторона какого-то небывалого дара, который изначально ему отпущен? И коль скоро угроза не только таится, но и с такой

очевидностью реализует себя, то ведь и дар, с которым мы говорим, не может пропадать где-то втуне. Человек слишком нужен Богу, чтобы позволить ему всего Себя вытеснить. Бог слишком щедр к человеку, чтобы, наделив его сначала свободой, лишить его возможности Ему ответить, и весь Его дар принять, и весь его разместить в своей человеческой жизни. Послав Сына Своего к нам, открыв нам страшное наше родство, разве не захотел Он, чтобы Сын, оставшись в семье человеческой, имел здесь свой кров и очаг? Разве при всем бесконечном различии — между Ним и нами — не решился ли Он однажды разделить с людьми и саму жизнь Свою?

/Окончание следует/